

Содержание

От редактора

7

Волшебник

19

Solus Rex

81

От автора

83

<Глава I>

Ultima Thule

87

<Глава II>

Solus Rex

128

Приложение

169

Волшебник

Повесть

«Как мне объясниться с собой? — думалось ему, пока думалось. — Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, — ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор, — я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный

вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей... (не просто без-опасность, а права одичания, или это — порочный круг, с пальмой в центре?). Рассудком зная, что ев-фратский* абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Чтó, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде пре-красного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, — сколько их на серой утренней улице, плот-неньких, жиденьких, в бисере прыщиков или в оч-ках, — *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вооб-ще же, независимо от особого чувства, мне хоро-шо со всякими детьми, по-простому, — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова, и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это до-полнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на пе-реходе от одного вида нежности к другому, от про-стого к особому, — очень хотелось бы знать, вы-

* В машинописи ошибочно: Эвфратский (вероятно, под влияни-ем слова эдемский).

тесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души, — потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств — если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно, — и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, — и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементар-

ной геометрии младшую сестру товарища — сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, — он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно, чтобы линии начинали дрожать и таить, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой — и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, — колотьба в груди, — «а щекотки боишься?», — или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, инкуба* так и не заметивших, он поражался своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогрудый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел

* Инкубы (от *лат. incubare* — ложиться на) — в средневековой европейской мифологии мужские демоны, помогающие женской любви, в противоположность женским демонам — суккубам (от *лат. succubare* — ложиться под), соблазняющим мужчин.

на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в —».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах, — прекрасно, — и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, — подумал он. — Кажется, придется пересечь».

Но тут-то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие

длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас, он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжеватых русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность еще узкой, уже не совсем плоской груди, передвижение юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадение, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной седкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни — всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, — и, сойдя к нам на землю, выпрямившись, с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, — и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас, — заметил он бессмысленно, — уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится, — сказала вязальщица, — у меня своих нет — и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка поправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запытки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», — ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, — и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног: «Улыбка рассеянности, — подумал он жалко, — но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив спящую книгу, он вдруг набросился на себя — почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, — и он вообразил jovially-го господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же jovially — на колени к себе забирать эхтышалуню. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, — в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг —

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивалась с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным влиянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вождедением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные

колени), — или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, — все равно что, но только чтобы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать — вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского приветствия ослабился и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сидения розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

